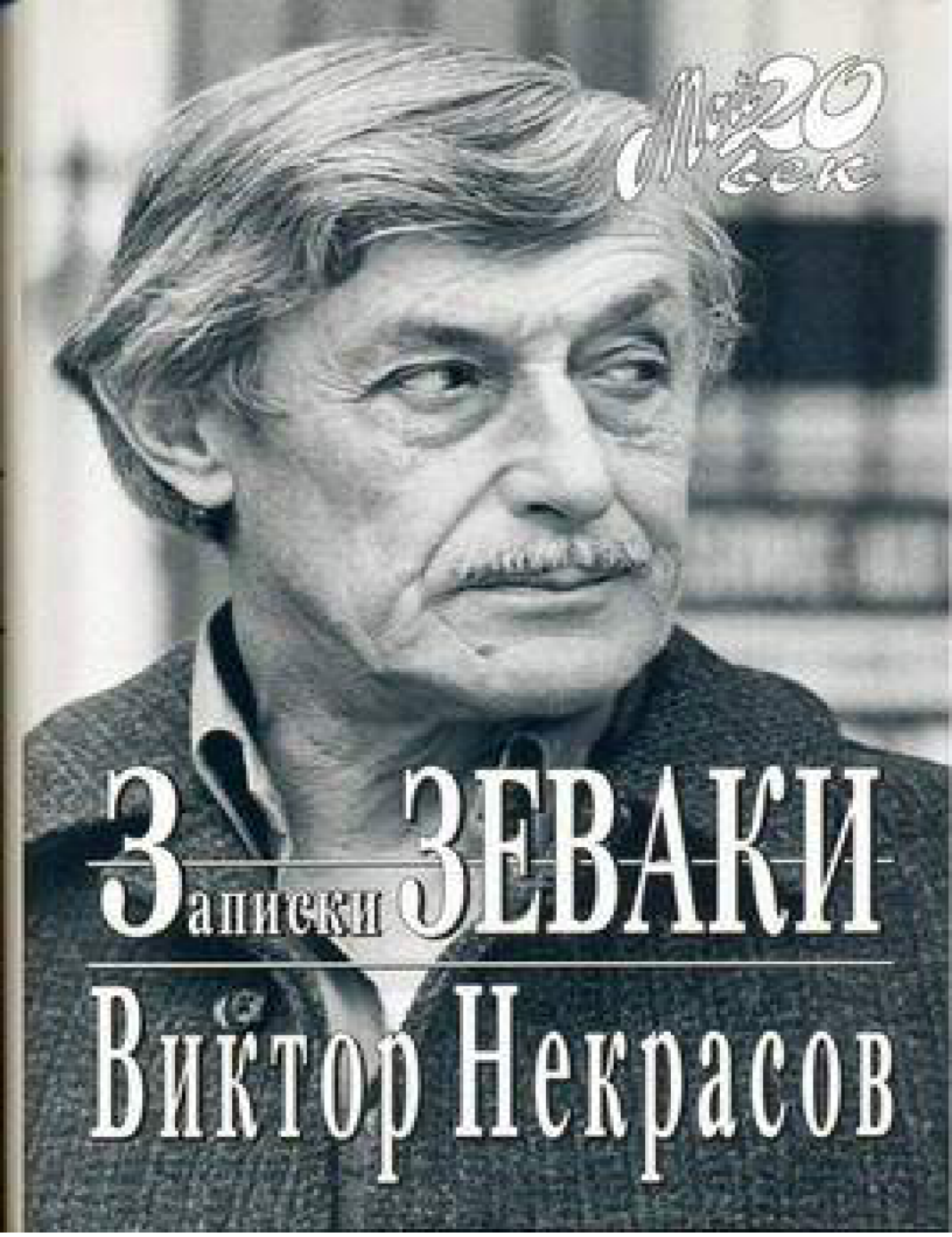
XX век
Записки
ЗЕВАКИ
Виктор Некрасов

SHOUT
SHARE
IT

- Виктор Некрасов

Виктор Некрасов
Как я печатался в последний раз

Как-то, сидя вечерком и посасывая что-то спиртное в одном из подмосковных писательских домов творчества, я спросил у одного милого немолодого литовского писателя о том, как он издавался в своей маленькой Литве до того, как она стала четырнадцатой или пятнадцатой среди равных.

Он слегка улыбнулся. «Ну как издавался? Приносил издателю рукопись». — «Понятно». — «Издатель взвешивал ее на руке и спрашивал — про что? Я отвечал, про то-то…» — «Дальше?» — «Дальше шел к метранпажу». — «И?..» — «Бутылочка вина или немножко водки. А вскоре и гранки». — «И книга?» — «Ну, через месяц, два. А то и раньше…»

Я вздохнул. Моя книга лежала в издательстве второй год. И это считалось нормальным.

Но это было давно — тогда меня еще печатали. Потом перестали.

Как же это все происходит, когда тебя перестают печатать?

На собственном опыте могу сказать — очень галантно.

Началось это давно — года три тому назад, а может быть, и больше. Прихожу в редакцию солидного московского журнала, в котором уже лет двадцать печатаюсь, и говорю, что хочу предложить им рукопись такого примерно содержания. Я в ту пору еще был уважаем, из партии не исключен. Со мной милы и любезны. Заключают договор, дают аванс 60 %. Я, пожав всем руки, благодарю и уезжаю домой. Через какой-то там срок являюсь в редакцию с рукописью. Ее читают, делают кое-какие, я бы сказал, незначительные, замечания и сдают в набор. Через день-два получаю гранки, вычитываю их и…

Здесь позволю себе маленькое отступление. Все это происходило в марте 1972 года. А в январе того же года ко мне на квартиру явились двое джентльменов и, предъявив соответствующий ордер, вежливо поинтересовались, не находятся ли в моей библиотеке книги, не дозволенные нашим законом. К концу визита выяснилось, что такие книги есть — «В круге первом», «Доктор Живаго» и мемуары Надежды Мандельштам, — и пришлось мне с ними расстаться.

Это было в январе. А в марте…

Короче — пришел я с выправленными гранками в редакцию, и тут-то отводят меня в сторону и шепотом сообщают: «Набор-то рассыпан… только никому ни гу-гу…» С невинным видом захожу

к главному редактору — человеку симпатичному и ко мне расположенному.

— Знаете ли, — говорит он, не сморгнув, — я перечитал рукопись, и мне кажется, что для того, чтоб она стала еще лучше, стоило бы вам тут кое-что добавить. В вашем стиле. Кое-какие рассуждения. Что вы на это скажете?

— Ладно, — говорю я, делая вид, что предлагаемые рассуждения действительно улучшат книгу. — Ладно, — говорю и уезжаю в Крым, что-то добавить в моем стиле.

Проходит лето. Приезжаю в Москву. Иду к редактору. Мил и любезен, как всегда.

— Как отдыхалось? Как работалось?

— Прекрасно.

Отдаю ему дополнительные размышления в моем стиле. Через день все тот же редактор — человек безусловно добрый и расположения ко мне не потерявший, — поговорив о том, как он высоко ценит мой талант, и глаз, и еще что-то, предлагает (для того чтоб вещь стала еще лучше, он в этом не сомневается) вот в этих двух местах и в этом тоже…

Больше мы с ним не виделись. Просто я вручил его заместителю заявление с просьбой рукопись мне вернуть и заплатить оставшиеся деньги. Бог ты мой, как все этому обрадовались. Из вежливости, правда, понегодовали — «Вот всегда у нас так, тянем, тянем, — а в результате теряем авторов…», но радость свою, что наконец расстались с нелегким автором, скрывали с трудом.

Погоревал я, погоревал, но пришли тут друзья и сказали:

— Не горюй, братец, а иди-ка ты к такому-то, в такой-то журнал и неси рукопись. Главный редактор там фронтовик, кажется, даже сталинградец, должен тебя любить.

Я что-то там помэкал насчет профиля журнала, но меня подняли на смех, и я, взяв рукопись под мышку, пошел к фронтовику-сталинградцу.

Принят был с распростертыми объятиями. Наутро рукопись прочли, заключили договор, заплатили 60 %, и я, потирая ручки, поехал домой. Обещали напечатать в таком-то номере.

Прошел месяц-другой. Наступила осень. И принесла она с собой не только дожди, но и кое-какие изменения в моей судьбе. Вызвали меня как-то на партком Союза писателей и сказали, что, обозрев мой жизненный и литературный путь, пришли к выводу, что в рядах партии мне оставаться нельзя. Что ж, стал я ходить на беседы к партследователям, на разные парткомиссии, но это уже другая история, о ней как-нибудь в другой раз. В журнале же, куда я заглянул как-то весной, очень огорчились. «Сами

понимаете, в каком мы положении. И хочется напечатать, и нельзя… Вот кончится все у вас благополучно, тогда сразу же, мигом. Ведь вещь-то хорошая…»

Но кончилось неблагополучно. Из партии исключили.

Перед отъездом за границу зашел я в редакцию. Здесь, в этом журнале, хоть и профиль у него другой, никто не радовался. Даже огорчались — вещь-то хорошая. И заявления я здесь никакого не писал — заплатили оставшиеся 40 % и пожелали на прощание — «Ну что ж вам пожелать? Успехов…» Расстались друзьями.

К слову — когда я прощался в Киеве с высокими партийными руководителями, которые вызывали меня для беседы, я, как человек воспитанный, пожелал им успехов: старшему по положению — на общественном поприще, его помощнику, к тому же писателю, — на литературном. Они оба приложили руку к груди, но мне ничего не пожелали.

Ну, вот и все. Рукопись я привез с собой. Интересно, что мне скажут в третьей редакции. Авось, как с моим давнишним другом, взвесят на руке, спросят, про что, и отправят к метранпажу. А через 10–12 дней… Но это было в маленькой Литве. И давно. И бумага была дешевле.

1975